



Л. П. ГРОССМАН

Тютчев и сумерки династий

L'explosion de Février a rendu ce grand service au monde, c'est qu'elle a fait crouler jusqu'à terre tout l'échafaudage des illusions dont on avait masqué la réalité*.

Тютчев. La Russie et la Révolution
(апрель 1848 г.)

Современники революций никогда не видят их в свете цельного и сплошного энтузиазма. Это удел отдаленных потомков. Только на расстоянии многих десятилетий можно слушать «Марсельезу», не вспоминая о лязге гильотин, и восхищаться кличами народных трибунов, не думая о пролитой крови.

Очевидцы великих переворотов менее счастливы. Им близки оба течения мятежной стихии, и под огненным потоком преобразования они чувствуют непрерывное бурление поднявшейся со дна мути и грязи. Им слишком знакомы страшные будни и жуткая проза революций. И душа их, разодранная на части этими судорогами сменяющихся подъемов и падений, сочувствий, восторгов и возмущений, не перестает переживать в продолжение всего кризиса глубокую и тягостную драму.

Некоторым суждено пережить ее с особенной остротой. Такова была участь Тютчева. Идеолог самодержавия и апостол всемирной теократии, он с ужасом отвращался от революции. Но как творческая натура, вечно стремящаяся к последним граням освобождения, как жадный созерцатель «древнего хаоса», он чуял в революции родное, близкое и неудержимо влекущее

* Взрыв февраля оказал большую услугу миру тем, что заставил обрушиться наземь то нагромождение иллюзий, которое маскировало реальность (фр.).

к себе. Отсюда его глубокая внутренняя разорванность. С омертвелой душой и широко раскрытыми глазами, потрясенный, опечаленный и бессильный, он следил за стихийной катастрофой мирового преобразования, одинаково чувствуя величие и ужас совершающегося.

Но драма его не угасла с ним. Она возрождается с каждым новым великим сотрясением, и мы глубже пойдем себя и трагический смысл происходящего, если проследим ее этапы.

I

От звездного неба и ночного океана Тютчев часто отводил свои взгляды к географической карте современной Европы. Созерцатель надмирного и вечного в своих творческих видениях, он силою жизненной судьбы стал внимательным наблюдателем всех треволнений текущей истории. Этот маг, астролог и тайновидец в свои обычные часы был дипломатом, политиком и царедворцем. Сумрак мировых тайн не заслонял перед ним тонких и хрупких нитей, сплетающих пряжу проносающейся современности, а тревожные колебания государственных границ глубоко волновали этого вещего созерцателя потустороннего. Рядом со Сведенборгом в нем уживался Талейран¹. Из кабинетов заграничных посольств и канцелярий петербургских министерств он зорко следил за опасной игрой правительственных или династических интриг, кидающих целые нации в яростную горячку взаимных истреблений. И глубоко взволнованный этим трагическим турниром венценосцев, послов и министров, он часто рифмованными строфами набрасывал свои негодующие или иронические замечания на поля шифрованных депеш и политических передовиц.

Он дал свой творческий отзвук. Текущая политика имела для Тютчева свой фатум и свой пафос. Не одни только «демоны глухонемые» небесных гроз зажигали его вдохновение, но и все проносающиеся события текущего исторического часа. Голос Клио всегда в нем будил Полигимнию². Стоя у самого источника политических катастроф, видя первое зарождение человеческих волн, смывающих правительства и режимы, он из этой лаборатории современной истории откликнулся на все ее голоса. И часто на еле вспыхивающие зарницы и далекие ропоты надвигающихся бурь он отвечал дрогнувшей медью своих строф, как электроскоп, трепещущий перед грозой своими золотыми лепестками.

До конца эти острые углы проносающейся современности глубоко задевали и ранили его. Бесконечной грустью веет от рассказа о его последних днях. В Царском Селе, где Тютчев так любил в осенних сумерках следить за беззвучным летом призраков минувшего над гаснущим стеклом озер и порфириными ступенями екатерининских дворцов, старый друг застал его в плачевнейшем состоянии. Это были те

...роковые дни
Лютейшего телесного недуга
И страшных нравственных тревог, —

когда кажется, что все отнято казнящим Богом у отходящего от жизни, кроме последнего сознания измученности, беспомощности и скорого уничтожения.

Паралич вершил свое беспощадное дело, и предсмертное разложение шло полным ходом. Половиной тела Тютчев совершенно не владел, он не мог писать, мозг изнемогал от сверлящей боли, центры речи были поражены, и некоторые звуки он уже затруднялся произносить. Еще несколько дней — и он не сможет исповедываться: отнимется язык, и умирающий свершит только глухую исповедь. Но пока дар слова еще не окончательно отнят у него, Тютчев по-прежнему весь в треволнениях современности. «Голова свежа, — замечает посетитель, — поговорили о литературе, о Франции...»³

И, вероятно, опять, как незадолго перед тем в своих письмах, Тютчев с восхищением отозвался о первом президенте третьей республики⁴ как об одиноком, но непоколебимом борце. В своих последних беседах он негодовал на правую сторону национального собрания, снова бросавшую еле очнувшуюся страну в грозную и жуткую неизвестность гражданских войн и вражеских нашествий.

И, конечно, умирающий Тютчев не мог просмотреть этой новой угрозы западному миру. Приближающийся конец не сделал его равнодушным к назревающим политическим драмам. С напряженным вниманием он по-прежнему жадно всматривался в их запутанный ход сквозь тупую муку своего медленного угасания. Он мог исчезнуть, но Европа оставалась! И перед надвигающейся ночью небытия, перед лицом вплотную подошедшей смерти, прикованный к постели, неподвижный, почти потерявший голос, он продолжал коснеющим языком говорить о творческих силах и грядущих обновлениях европейской жизни, о духовном и рыцарском орденах ее вождей и героев, вдохновителей и бойцов.

Бодрящей силой веет от этой агонии семидесятилетнего паралитика. Как чувствуется в ней тот, кто через несколько дней погаснет со словами: «Faites un peu de vie autour de moi!»*.

До последнего часа Тютчев жил и горел всеми болями и ожогами современности. До конца он шел к вселенской мистерии земными путями, через человеческую трагедию. Драмы истории могли только приблизить его к этой заветной цели. И со смертного одра он по-прежнему склонялся над клокочущим водоворотом политических событий, как Данте над подземным потоком, с ужасом вслушиваясь в рыдания, стоны и вопли, несущиеся к нему со дна бушующей пучины.

Так до конца в политической злободневности Тютчев проревал лик всемирной истории. До конца известия посольских меморандумов и сообщения агентских телеграмм поднимались им до значения религиозной драмы мирового преображения. И, конечно, он принял бы, как лозунг своих философских раздумий, слова, сказанные Наполеоном Гёте:

— Политика — вот подлинный трагический рок наших дней⁵.

II

Судьбы эпохи не отказывали Тютчеву в захватывающих зрелищах. Как Цицерон, он посетил «сей мир в его минуты роковые» и мог считать себя собеседником богов на яростном спектакле расовых состязаний.

Войны, революции, падение тронов и зарождение новых властей щедро наполнили европейскую хронику его поры. Детство его пало на горячее время наполеоновских походов, а старость совпала с перелицовкой европейской карты прусским мечом. Он родился за год перед венчанием Бонапарта императорской короной; а умер через полгода после «Наполеона малого», пережившего триумфы своих военных авантюр и гибель своей державы.

За эти семь десятилетий он был свидетелем нескольких великих войн. Еще девятилетним ребенком он был увезен из Москвы в панике перед тем нашествием, которое впоследствии он назвал первой пунической войной Европы с Россией. Он всегда с волнением вспоминал тот всемирно-исторический момент,

* «Пусть будет несколько жизни вокруг меня» (фр.) (Аксаков. 1997, 316). — *Ред.*

когда «вещий волхв в предчувствии борьбы» произнес на Поклонной горе свое фатальное заклинание⁶.

В разгаре его политической деятельности разразилась Крымская кампания, глубоко взволновавшая его. Он сразу почувствовал, что этот медленно нараставший кризис, способный переломить и преобразить мир, окажется таким продолжительным и ужасным, что всего остального века не хватит для его окончательного усмирения. Как только он узнал, что морской министр везет в Константинополь ультиматум петербургского кабинета⁷, он сразу понял, что начинается нечто неизмеримо важное и роковое, неуловимое для оценок современников. И с первых же военных действий он начал предсказывать, что возникшие события — уже не война, не политика, а «целый мир слагающийся»...

И, наконец, уже в старости он с волнением следил за угрожающим ростом Пруссии. И когда незадолго до смерти он стал свидетелем ее нападения на Францию, ему почудилось, что там, вокруг Седана⁸, —

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней...

В своих письмах он предсказывает, что последствия франко-прусской войны могут оказаться совершенно неожиданными для всего мира: вызвав окончательное подавление в европейском человечестве религиозной совести, эта война приведет Европу к состоянию варварства, беспрецедентному во всей всемирной истории и открывающему пути неслыханным злодеяниям.

«Это простой и полный возврат христианской цивилизации к римскому варварству, — пишет он о новой имперской Германии, — и в этом отношении князь Бисмарк восстанавливает не столько Германскую империю, сколько традиции Римской. Отсюда этот варварский дух, отметивший приемы последней войны, эта систематическая беспощадность, возмущившая мир... Это Кесарь, вечно пребывающий в борьбе с Христом».

Но еще обильнее были в его эпоху зрелища революций. От греческого восстания и декабрьского бунта, через польские мятежи, через июльские и февральские дни в Париже до русского террора и Парижской коммуны он не переставал изучать психологию и дух революции во всех ее оттенках, видах и формах. Он прошел за это время целый путь от ужаса перед грозным смыслом безбожной революционности к признанию в ней жизненных начал обновления и творческих сил.

Представитель петербургского кабинета в самую грозную пору российского самодержавия, Тютчев под конец жизни философски принял революцию и политически приблизился к ней. В его письмах, до сих пор нигде не собранных, в неизданных рукописях его политических статей часто отражается его сочувствие катастрофическим обновлениям застоявшейся истории. Этот мятежный облик консервативнейшего чиновника остается до сих пор в глубокой тени, и ключ камергера тщательно скрывает от нас его трехцветную кокарду республиканца. Мы прекрасно знаем Тютчева, возмущенного адской силой революционных взрывов, посягающих на «незыблемые высоты», нам знаком традиционный облик этого вельможи-реакционера, подающего Николаю записки о необходимости подавления русским оружием европейских бунтов, но от нас скрыт этот сочувственный провозвестник наступающей республиканской эры, предсказывающий спасение России огнем революционного действия.

«Если бы Запад был един, — пишет он в своих письмах, — мы бы, кажется, погибли. Но их два: Красный и тот, кого Красный должен поглотить. Сорок лет мы отбивали у Красного эту добычу, но вот мы на краю бездны и теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь»⁹.

И уже незадолго до смерти он с живостью великих ожиданий отмечает повсеместное понижение династических чувств, падение монархического авторитета и неизбежное вступление европейского мира в республиканскую эру.

Так эволюционировал этот ученик Жозефа де Местра¹⁰. На громадном протяжении от восстания карбонариев и убийства Коцебу до поджога Тюильри и выстрела Каракозова менялись приемы, тактика, дух и смысл революции. Менялось и отношение к ней Тютчева.

В процессе истории преобразилась вся его философия власти. Священный характер единодержавия и религиозный ореол монархического владычества потускнели и выветрились под напором совершившихся исторических фактов. Безбожная революционность оказывалась могущественнее божественной власти королей. Гарибальди и Герцен казались героичнее Франца-Иосифа и третьего Наполеона. Воля наций становилась мудрее самодержавных манифестов.

Древняя священная власть агонизировала на глазах у Тютчева. Сцена истории преображалась. Цари уходили, умирало последнее очарование династических могуществ. Увяли лилии Бурбонов, захирели орлы Мономаховичей. На всех тронах мира

короли-герои угасли, как светильники законченного богослужения. Чувствовал ли умирающий Тютчев, что даже сану российских самодержцев оставалось менее полувека жизни?

Но не только силой раскрытия и зачинания новых эпох влекла его к себе революция. Своей изначальной глубинной сущностью она сильнее всего отвечала исконной потребности его души. В грохоте восстаний и крушении режимов, в катастрофические моменты господства хаоса на путях истории он прозревал в ней заветную сущность всемирных судеб человечества. Внезапно выступавшая из всех оков и скреп эта «злая жизнь с ее мятежным жаром» сметала пред ним все условные покровы обычных политических будней. И в огне этих вечных всплесков прорыва возмущений перед ним обнажались до последних истоков глубочайшие подземные родники текущей истории.

В сокрушительных выступлениях раскованной народной стихии из всех воздвигнутых преград государственности, в диких столах воспламененной истории он ловил желанный отзвук вечной тяге своей души к темной и грозной стихии, обтекающей мировую жизнь: в ропоте революционных эпох, как в завывании ночного ветра, Тютчев слышал родные голоса, поющие ему страшные и желанные песни «про древний хаос, про родимый»...

Вот почему этот ранний единомышленник Меттерниха¹¹ не дрогнул перед зовом идущей революции. Он отважно вступил с ней в борьбу, в разгаре битвы разглядел лицо своего противника и, пораженный его грозным и величественным обликом, отбросил свое оружие и признал его власть. *Nenikekas, Galilaie!** как бы слышится из тех тревожных строк о будущем Европы, которыми этот сподвижник государственного канцлера пророчески возвещает передовым разъездам человечества о крутом повороте и новых путях всемирной истории.

III

Революция ковала его государственную философию. В борьбе с мятежным духом новейшей истории строилось его политическое исповедание. В народных переворотах ему почудился какой-то гомеровский образ вероломства и кощунственной злобы. Из его политических меморий и докладных записок революция выступила страшной мстительной Девой,

* Ты победил, Галилеянин! (греч.).

Которая в мир чуть заметной приходит, а вскоре
Грозно идет по земле, в небеса головой упираясь¹².

С первых же своих шагов он должен был разрешить этот труднейший вопрос практической политики. В аудиториях московского университета он мог еще беспечно восхищаться пушкинской одой «Вольность» против всех «самовластительных злодеев» и в ответ писать свои студенческие гимны о пламенеющем огне свободы и закоснелых тиранах. Но на такие события, как военные мятежи и восстания в Кадиксе, Лиссабоне, Неаполе и Пьемонте, на все эти еле замирающие или еще длящиеся в момент его поступления в иностранную коллегия бунты, казни и междоусобия нужно было отвечать немедленно и категорически, с мужеством государственного деятеля и непоколебимостью представителя великой державы.

События эпохи ставили вопрос остро и неуклонно. Время обязывало к быстрому и решительному ответу. Нужно было одним ударом сбросить этот нож с пути или упасть на него грудью.

За три года молодой мюнхенский дипломат вырабатывает свое политическое исповедание и оправдывает занятую позицию. Пока заговорщики разрушали инквизиционные тюрьмы, пока расстреливали масонов и карбонариев, пока при Миссолонги пал Байрон¹³, а на Мадридской площади

Мятежный вождь Риэго был удушен¹⁴, —

Тютчев тщательно взвесил все pro и contra мучительной проблемы, и к моменту декабрьского бунта его позиция прочно установлена. Он не с Каннингом, страдающим за оскорбленную Испанию¹⁵ и молящимся о сохранении португальской конституции, он с Меттернихом, приготавливающим новый удар греческой гетерии. Он не с гвардейскими полками, поднимающими бунт в семеновских казармах, он с Александром, готовым послать русскую армию в пылающую военными бунтами Испанию.

Но каждая новая революция глубоко тревожит его, ставит в огонь испытания выработанную доктрину, преобразует, углубляет и как бы наново обжигает ее. И только после февральской революции его философия прочно устанавливается и стройно кристаллизуется в тезисах его политических статей.

За это время он прошел через три цикла революций. Он начинал свою деятельность «среди бурь гражданских и тревоги», в беспорядочной суматохе восстаний и мятежей смутной эпохи

реставрации. Он принимался за распутывание дипломатического клубка в атмосфере междоусобий и правительственного террора, когда Сильвио Пеллико томился в моравских темницах¹⁶, и даже афонские монахи брались за оружие. Назначенный младшим секретарем баварского посольства, Тютчев прибыл в Мюнхен как раз во время Веронского конгресса, где Шатобриан призывал священные дружины к подавлению испанской вольницы¹⁷.

Современность всячески обостряла трудность возникшей проблемы. Греческое восстание осложняло ее потрясающими ужасами хиосской резни и резко ставило перед историком вопрос: всегда ли власть от бога, а революция от сатаны? Перед зрелищем разъяренных янычар, убивающих тысячами греческих повстанцев, перед бесконечными вереницами замученных, задавленных и зарезанных, трагически оттачивалась трудная задача оправдать эти каннибальские зверства султанской жандармерии догматом борьбы священной власти с безбожной революцией.

Но Тютчев рассекает сплеча этот гордиев узел. Как дипломат, он весь в заветах священного союза: он за королей, за освященную веками власть, за скипетры и троны против чудовищной гидры якобинства.

Все революции его эпохи одинаково выбывают в нем чувство ужаса и возмущения. Он против восстания греков. События, вдохновившие Пушкина и погубившие Байрона, оставили его скептически недоброжелательным. «Целый народ (т. е. турок) выгнать трудно», сказал кому-то Тютчев в разгаре борьбы. Очевидно, как государь на веронском конгрессе, он усмотрел в волнениях Пелопонеса только гибельные признаки надвигающегося террора.

Он против декабристов. И на этот раз его возмущение напрягается до творческого гнева. Когда он узнает, что по пути следования сосланных в Сибирь толпа в Ярославле забросала их мокрой грязью, он приобщается к этому взрыву темной народной ненависти и бросает свою головню в костер Гуса¹⁸. Он не прощает безумной отваги этим «жертвам мысли безрассудной», он оправдывает народ, поносящий их имена, и грозит им вечным забвением потомства. На вершинах русского творчества это единственное осуждение декабрьских мучеников, а на светлой ризе тютчевской музыки — единственное теневое пятно.

Но вскоре возникает новый революционный цикл, подвергающий великому испытанию его философию. В смятении следит он за «великим заблуждением тридцатого года». Когда леген-

дарный Лафайет¹⁹ гарцовал по парижским улицам, королевская гвардия подчинилась народным депутатам и молодой журналист Тьер²⁰, — тот самый, которому суждено будет через сорок лет волновать и восхищать Тютчева на его смертном одре²¹, — отважно подписал прокламацию, требующую «несколько живых голов», в русском посольстве баварской столицы жадно следили за всеми фазисами парижской борьбы. И вместе со всеми дипломатами Европы Тютчев с чрезвычайной вдумчивостью должен был вчитываться в редкий документ, которым призванный Божьей милостью к власти монарх навсегда отказывался от престола за себя и за дофина.

И пораженный беспомощными попытками последнего Бурбона ухватиться за корону, Тютчев впервые раскрыл в революции ее глубокое духовное начало. В июльские дни он признал в ней новый культ и заговорил о целом революционном вероисповедании, связанном с общим историческим ходом философской и религиозной мысли на Западе.

И с обычным прозрением в надвигающиеся судьбы истории он немедленно же предсказал вступление Европы в последовательный ряд великих народных переворотов...

И, конечно, как все современники июльских дней, он был поражен международной заразительностью революций. Почему падение Карла вызвало восстание в Нидерландах, воспламенило население Болоньи и Модены, зажгло революцию в Германии и, наконец, отдалось братоубийственной войной там, за границами его родины, на берегах Вислы?

Кажется, не было в текущей политике событий, потрясших Тютчева сильнее польских мятежей. О глубокой моральной драме свидетельствуют его строфы, полные неуспокоенной скорби за принесенную страшную жертву. Защищая свершение того, что представлялось ему исторической необходимостью, он оплакивает роковой удар, нанесенный «горестной Варшаве», и не ликуя, а с отчаянием Агамемнона, несущего богам «дочь родную на заклятие», обращается к истекающей кровью Польше:

— Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!

И когда через тридцать лет над русской Польшей снова навис кошмар междоусобия, какими негодующими и горестными строфами Тютчев откликнулся на этот новый взрыв борьбы! В этих прерывистых, осекающихся и ниспадающих строках словно чувствуется жест руки, поднятой в порыве гнева и упавшей от отчаяния.

Сбылось его предсказание. Революционная эра действительно наступила. Когда в 1848 г. вся Европа запылала в одном сплошном пожаре восстаний, Тютчев изнемогал под тяжестью нахлынувших впечатлений. Друзья тревожатся и болеют за него. Он не перестает «кипеть и витийствовать», и все его нравственное существо возбуждено и подвинуто до последней степени.

И сколько отчаяния и ужаса слышится в его строках: «Запад исчезает, все рушится, все гибнет в этом общем воспламенении: Европа Карла Великого и Европа 1815 г., римское папство и все западные королевства, католицизм и протестантизм, вера, уже давно утраченная, и разум, доведенный до бессмыслия, порядок, отныне немыслимый, свобода, отныне невозможная, и над всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными руками»...

И вот тут, в огне событий, пока Париж покрывается баррикадами, Берлин оглашается перестрелкой, и сам Меттерних падает, сметенный волною всеевропейской революции, текущая хроника политических событий раскрывает Тютчеву далекие пути в минувшее и грядущее. В пожарном зареве 48-го года озарились перед ним таинственные судьбы европейской истории и раскрылся весь сокровенный смысл единой на протяжении веков сплошной и цельной драмы.

В поэте и дипломате проснулся политический писатель. Опыт своих долголетних раздумий и наблюдений он хочет отлить в большом всеобъемлющем труде о России и Западе. В немногих сохранившихся отрывках здесь раскрывается грандиозный план охвата единой историко-философской системой всех вопросов европейского будущего. Это целый *Tractatus politicus*, но только как молитвенник, с крестом на переплете.

IV

В осколках хронологии он рассмотрел отражение единого трагического облика. Образ новой Европы раскрылся ему в искаженном напряжении внутренней борьбы. Вся история ее предстала перед ним в виде битвы двух стихий, двух вер — христианства и революции.

Крест и баррикада — вот формула его исторического исповедания. Распятие и нож мерещутся ему в борьбе трона и черни. Два великих исторических образа конкретно воплощали для него сущность этой философии и служили ему живыми симво-

лами этих враждующих стихий: в сумраке средневековья — создатель и могучий организатор христианской Европы Карл Великий, в бурях современности — венчанный воин революции Наполеон.

Образ Карла Великого был особенно дорог Тютчеву²². Этот отважный разрушитель языческих капищ и благоговейный почитатель блаженного Августина служил ему высшим прототипом священной власти. Замечательно, что из всего Гюго Тютчев перевел только один отрывок, задевший в нем, по-видимому, какую-то живую струну. Это выхваченный из целой трагедии монолог Дон-Карлоса у аахенской гробницы:

Великий Карл, прости!..
Сей европейский мир, руки твоей создание,
Как он велик, сей мир!

Часто и подолгу живавший в Риме, Тютчев, конечно, не раз останавливался в Ватикане перед знаменитой фреской Рафаэля, изображающей венчание Карла Великого. Тайнственные судьбы западного мира раскрывались ему в этой праздничной роскоши красок и образов. Увенчанный митрой папа, в кругу кардиналов и рыцарей, готовый возложить зубчатую корону на чело коленопреклоненного Карла, — этот момент нарожения новой исторической эры среди сверканий и переливов парчи, шелков и ковровых тканей, пылающих шандалов и рыцарских доспехов как бы обнажал перед ним первоистоки императорской власти. В парадных палатах Ватикана главный тезис его исторической философии словно воочию воплощался перед ним, облачаясь в ризы и багряницы всех рафаэлевских великолепий.

Но на эти священные силы христианской империи поднимался мятежный дух новой истории. Революция убивала Карла Великого. Она сметала алтари и троны и утверждала свою власть на безграничном культе личного начала. Ее величайший апостол и выразитель трагически разыграл «на обломках империи Карла Великого пародию на империю Великого Карла»²³.

Личностью Наполеона безбожные бунтарские силы истории бросили свою последнюю ставку в борьбе с божественным началом державных судеб. Предопределенность в этой гибели сказалась в его мучительно раздвоенном облике, разорванном властью «двух демонов», двух яростных и хищных сил. Внутренняя борьба этого миропомазанника революции была ужаснее всех его битв и грознее его последних поражений. Самоубийственным заклятием веет от всего его жизненного подвига:

Сын революции! Ты с матерью ужасной
 Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:
 Не одолел ее твой гений самовластный!..
 Бой невозможный, труд напрасный:
 Ты всю ее носил в самом себе!..

Этот «центавр, который одною половиной своего тела — революция», воплотил весь ее дух и смысл. «Он был земной, не Божий пламень»! Душа революции — безверие, лозунг ее — антихристианство. С Великой французской революции началось разложение западного мира медленным погружением его в нравственную стихию безбожия. Она не была случайным взрывом, вызванным злоупотреблениями власти, но роковым фактом народного духа, обличающим оскудение веры.

Вот величайший ужас революционного действия в глазах Тютчева: обезбожение неба, обожествление человека человеком, возведение людской воли в нечто абсолютное и верховное, притязание заменить личным человеческим началом высшие силы, ведущие судьбы истории.

Он сравнивает революцию с духом тьмы, поражающим душу и тело верного, Иова. Он не может простить ей этого похода на святых, этой отмены религиозных ценностей, этого заглушения высших духовных стремлений. Революция для него прямое последствие отречения христианского общества от Христа. Она выражает полностью всю новейшую европейскую мысль со времени ее разрыва с церковью: апофеоз человеческого я, отпадение от религиозной соборности. «Церковь, — восклицает Карлейль, — какое слово! Оно богаче Голконды и сокровищ целого мира»...²⁴ Это забывают вожди восстаний. Но Тютчев, мечтавший о единой церкви, обнимающей обе половины европейского мира, с ужасом видел занесенный над нею таран.

Вот почему принцип власти, по Тютчеву, невозможно извлечь из принципа революционного. Власть всегда священна и созидательна, революция же безбожна и разрушительна. Она лишена всякого творческого дара: «каждый раз, как революция на мгновение изменяет своим привычкам и вместо того, чтобы разрушать, берется создавать, она неизбежно впадает в утопию».

И не только сама она лишена созидательных сил, она по существу своему враждебна творческому началу. Под ее дыханием никнут прекраснейшие ростки человеческого духа, блекнет его цветение, гаснет магическая фосфоресценция его идей-видений и образов-дум. Это поистине страшная богиня. Взгляд ее губит волю духа к пышным и радостным воплощениям, а тя-

желой поступью своей она дробит и топчет все облики творческих созерцаний в бронзе и мраморе, в словесных и красочных сочетаниях.

И уже за один этот грех не заслуживает ли революция беспощадного пригвождения философским молотом к позорному столбу?

V

Когда в вербное воскресенье 1849 года Рихард Вагнер закончил в дрезденском театре дирижирование Девятой симфонией, в оркестре появился незнакомец огромного роста с тяжелой головой и львиной гривой.

— Если бы в предстоящем мировом пожаре, — заявил он Вагнеру, — вся музыка была обречена на гибель, мы с опасностью для жизни должны были бы отстоять эту симфонию.

Это был Михаил Бакунин, тайно от полиции присутствовавший в Королевском театре. Он сразу поразил Вагнера. Капельмейстер саксонского двора поторопился сблизиться с русским анархистом, ожидая откровений об искусстве будущего от этого провозвестника новой исторической эры.

Но Бакунин не хотел слушать о музыке. Пафос разрушения угашал в нем интерес к творчеству. Бетховен ему был нужен лишь как возбудитель толп к восстанию. Увертюра к «Летучему Голландцу», сыгранная ему однажды Вагнером, не могла поколебать его неприязни к искусству. Он по-прежнему не желал слышать о «Нибелунгах», он умолял не знакомить его с мистерией о Назаряяине. Будущий творец «Парсифаля» был поражен этим разрушительным натиском бунтарских идей, потрясавших все оплоты его верований. Перед ним в одном лице впервые воплощалась борьба двух стихий: искусства и революции²⁵.

Этот роковой антагонизм неизбежно сказывается в момент каждого государственного переворота. Лозунги разрушения никогда не совпадают с волей к творчеству. В грохоте перестроек смолкают одинокие голоса созерцателей и духовидцев. Каждый политический взрыв несет в себе угрозу накопленным ценностям творческой культуры и на время парализует источники ее дальнейшего роста.

Это остро ощущал Тютчев. В последовательных взрывах 1848 г. его сильнее всего поразил этот ужасный вид «цивилизации, убивающей себя собственными руками». Безмолвный, по-

трясенный и бессильный, он присутствовал при этом самоубийстве европейской культуры.

Полнее других он должен был чувствовать трагизм происходящего. Тютчев был, конечно, одним из культурнейших умов своего поколения. Он не пропустил ни одного случая пополнения и обогащения своих знаний. Книги, люди, путешествия, музеи — все это обильно питало его любознательность. «Не получить каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать вокруг себя шумной общественной жизни было для него невыносимым», — свидетельствует его биограф²⁶.

Он чрезвычайно много читал. Несмотря на вечную перегруженность спешной работой, он всегда уделял свои утра чтению. Все замечательные новинки русских и европейских литератур сменялись на его ночном столике вместе с последними книжками журналов.

Он не пропускал ни одной значительной работы по истории, политике или философии. По письмам его видно, какое сильное впечатление произвела на него уже незадолго до смерти «Философия бессознательного» Гартмана²⁷, по-видимому, впрочем, в чем-то пересказе.

Он всегда был жадным читателем. Еще в студенческие годы он поразил Погодина размахом своей начитанности от Паскаля до Адиссона²⁸. За границей он ревностно изучает немецкую философию. Свою историко-политическую систему он вырабатывает под воздействием разнообразнейших доктрин, беспрестанно всматриваясь в кипение нарождающихся лозунгов и программ. В своей предсмертной книге Владимир Эрн установил интереснейший по новизне и раскрывающимся перспективам факт: глубокую критику, которой Тютчев подверг политическую философию Джоберти: «Нельзя не подивиться исключительной пронизательности и духовной зоркости Тютчева, который в самый разгар стремительных событий 48—49 гг., в высший момент политической влиятельности Джоберти, когда восторженные клики в его честь оглашали всю Италию и утопия его вот-вот готова была осуществиться, из поэтической тишины своих европейских странствий сумел с удивительной четкостью поставить диагноз горячке политического джобертианства²⁹, охватившего Италию»*.

Он впитывал в свою систему открытия своих предшественников. Вероятно, большое значение имели для него Вико, Бо-

* Эрн Влад. Философия Джоберти. [М., 1916. — Ред.] С. 262—263.

нальд и один из сильнейших властителей дум его поколения — Шатобриан. По крайней мере главная мысль «Etudes historiques» о развитии обществ христианской идеей должна была сильно привлечь Тютчева к этому писателю-дипломату, представлявшему Францию на веронском конгрессе.

Он, конечно, прекрасно знал Жозефа де Мэстра. Судьбы их дипломатических карьер как-то симметрично противопоставались: русский посланник в Турине должен был часто слышать имя знаменитого сардинского посла в Петербурге. В статьях автора «Петербургских вечеров» он находил немало руководящих положений для своей исторической философии.

Сам Тютчев роняет мимоходом указание на это знакомство с автором знаменитой книги «О папе». В критический момент русской истории, во время крымской кампании, он приводит в своих письмах любопытное замечание: «Еще граф Жозеф де Мэстр говорил лет пятьдесят тому назад, что две язвы, разъедающие народный характер России, это — неверность и легкомыслие, и ведает Бог, что с тех пор эти две язвы еще не на пути к исцелению» *.

Тютчев имел право упрекать князя Вяземского за чтение одних только брошюр и газет. Сам он был в этом грехе неповинен. Он никогда не удовлетворялся беглым торопящимся изложением новых идей, теорий и учений, но воспринимал их всегда из первоисточника во всей неприкосновенной цельности, полноте и свежести непосредственного творчества.

VI

Но этим жадным искателям идейного возбуждения споры нужнее книг. И Тютчев постоянно чувствовал это. Он говорит в своих письмах о той животворной, воодушевляющей среде, вне которой ничто невозможно. Его постоянно влекло к оживлению многолюдных разговоров, к тому возбуждению и обострению ума, которое сказывается в перекрестном огне остроумия, парадоксов и летучих вариаций на вечные темы под углом событий дня.

* Идеям Жозефа де Мэстра суждено было щедро оплодотворить русскую историко-философскую мысль. Безусловно установлено его влияние на Чаадаева. Остается еще установить его роль в рождении убеждений Тютчева, Достоевского, Владимира Соловьева. «Три разговора», например, написаны под несомненным впечатлением «Петербургских вечеров»³⁰.

Тютчев любил это умственное возбуждение в разгаре словесных турниров. По свидетельству его биографа, «ему были нужны как воздух каждый вечер свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин» *. В этой электризирующей атмосфере он воспламенялся и мог целыми часами развертывать свои импровизации, невольно зажигая слушателей огнем своих прозрений и беспрестанно ослепляя их вспышками своих незабываемых острот.

Он знал лучших людей своей поры. Друг Жуковского и Гейне, он по преданию был обласкан самим Гёте³¹. Он развивал свою философию перед интереснейшими современниками и слушал возражения от лучших умов своей эпохи.

Он доказывал Чаадаеву возможность духовного обновления Запада в возврате к утраченному духовному единству с Востоком. Он по пути в Берлин рассказывал Варнгагену фон Энзе о новых открытиях в области русской духовной литературы, он горячо спорил в Мюнхене с знаменитейшим философом эпохи.

В маленькой гостиной Шеллинга с закопченными стенами и старыми эстампами религиозного содержания Тютчев доказывал своему собеседнику невозможность подчинить христианское откровение философскому толкованию и категорически утверждал перед ним непреложность вселенского церковного предания.

«Надо или склонить колени перед безумием креста, или же все отрицать. В сущности, нет для человека ничего более естественного, как сверхъестественное»³².

Помимо книг и людей, он знал и другие источники творческих культур. Он постоянно жил в городах, пребывание в которых — уже невольная школа. Он знал Мюнхен в разгаре его классической реставрации, когда, по слову Гейне, светлые храмы искусства и благородные дворцы здесь в отважном изобилии возникали из духа великого художника Кленце³³.

* Катков в некрологе Тютчева пишет: «Общество было для него необходимостью; он постоянно был в людях. Но он также постоянно умел быть один и в шумной толпе. Он обильно принимал впечатления извне, но они подчинялись течению его мысли. В разговорах, возникавших случайно, он поражал яркими просветами разума, которые вдруг озаряли целые горизонты. Речь его оживлялась, сыпала искрами. Выражения, удивительные по меткости, остроумию и нередко глубине, порождавшие мгновенно ряд ярких мыслей и новых настроений в слушателях, вырывались у него так неожиданно, так внезапно, так добровольно. Душа его отзывалась на все» (Русск<ий> вестн<ик>. 1873. Кн. VIII. [Т. 106.] С. 835).

Он следил за возведением новых музеев, библиотек, пропилеев, триумфальных арок и соборов. Он должен был участвовать во многих актах королевского правительства: при нем старая Сальваторская церковь была отведена православной пастве.

Он, конечно, прекрасно знал мюнхенские картинные галереи. В эту эпоху живые лица напоминают ему часто музейные полотна: жена Жуковского³⁴ представляется ему как бы нарочно сошедшей для поэта с хорошей картины старинной немецкой школы. Так неожиданно в тонком ценителе женской красоты обнаруживается частый посетитель Пинакотеки.

Дипломатическая служба Тютчева долгое время протекала в Италии. Это была его вторая родина. Семейное предание возводило род Тютчевых к итальянским выходцам и указывало на сохранившуюся среди флорентийского купечества фамилию Dudi. И недаром Тютчев перевел знаменитую гетевскую песнь Миньоны³⁵ — эту поэтическую жемчужину вечной итальянской ностальгии, этот прекраснейший гимн художнической тоски по стране миртов и беломраморных дворцов. Он в себе носил зерна этой тоски. И часто под свинцовым северным небом он широко раскрывал свои глаза ночной птицы и сквозь морозную мглу прозревал золотые всплески «великих средиземных волн» и пламенеющий на солнце «роскошной Генуи залив»,

Где поздних бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет...

Его собственное творчество переливается этими итальянскими отражениями. Он любит описывать «Рим ночью», «итальянскую виллу» или обручение дождей с Адриатикой под «тенью львиного крыла».

Так впивал в себя Тютчев чары различных культур. Всюду — в Мюнхене, в Турине, в Риме, Париже — он приобщался к этим очагам отстоявшейся древней красоты и жадно пил из пробивающихся источников новых творческих потоков. Всюду он чувствовал, как чужд этот мир неумирающего прекрасного всем шквалам пронсящихся мятежей, какая глубокая правда и ясная мудрость таится в тишине его святилищ и как ужасно вечное восстание Робеспьера на Аполлона³⁶.

VII

Каким же образом этот идеолог контрреволюции, напоминающий Казота³⁷ напряжением своих анафем против врагов пре-

стола и церкви, пришел к концу жизни к их бушующему стану? Как мог этот фанатический легитимист ждать от Красного спасения России и радоваться вступлению Европы в период народовластия?

Прежде всего на его глазах закатывалась священная империя. Венчаные представители Провидения на европейских тронах его поры должны были окончательно дискредитировать в его глазах догмат власти Божьей милостью. Император Николай, глубоко осужденный Тютчевым за оскорбительное попираание народного духа, «Австрийский Иуда» Франц-Иосиф, король-мещанин Луи-Филипп или актер на троне — последний Наполеон, этот «великих сил двусмысленный наследник», — к кому из них Тютчев, зачарованный образом Карла Великого, не мог бы обратиться восклицания Гамлета: «Король — паяц, укравший диадему»? ³⁸

В личности Николая он прозрел многое. В огненном испытании крымской кампании, Тютчев с мучительной ясностью разглядел все преступные заблуждения этого мрачного государя. Перед страшной внутренней неурядицей, разоблаченной грозною войною с европейской коалицией, Тютчев понял, что «официальная Россия утратила всякий смысл и чувство своего исторического предания». Его привели в уныние эти непростибельные грехи власти, все эти «старые гнилые раны, рубцы насилий и обид, растление душ и пустота». Перед неожиданной действительностью, оскорбляющей и разбивающей все его нравственное существо, целое царствование представилось ему сплошной эрой греха, тирании и позора. Он изнемогал от тоски и отвращения: «Может быть, и не все потеряно, — пишет он после ряда катастроф, — но все изломано, перепорчено, подорвано в своей силе надолго. Разум подавленный, как ты мстишь за себя!»

И каким мятежным дыханием охвачены его строки, призывающие гнев Божий «на чела бледные царей». «И вот какие люди ведут теперь судьбы России сквозь самый ужасный кризис, когда-либо сотрясавший мир! Нет, невозможно не чаять близкого неминуемого конца этой возмутительной бессмыслице, страшной и в то же время нелепой, заставляющей в одно и то же время хохотать и скрежетать зубами, этому противоречию между людьми и делом, между тем, что есть и что должно быть. Перед нами все еще видение Езекииля: поле покрыто сплошь сухими костями ³⁹. Эти кости оживут ли? Ты веси, господи. Но, конечно, оживить их могло бы разве дыхание Божие — дыхание бури!..»

Несчастные позорные войны, неизбежно пробуждающие революционный дух, не пронеслись бесследно мимо Тютчева. Они зажгли в нем пафос возмущения и до пророчества прояснили его восставшую и негодующую душу.

Среди его политических строф есть одно поразительное прорицание. В стихотворении «На новый 1855 год», за полтора месяца до кончины государя, Тютчев предсказывает его смерть, как неизбежное возмездие за вызванную им бессмысленную катастрофу. Он заявляет, что рождающийся в железной колыбели год будет «не просто воитель», но исполнитель Божьих кар:

Для битв он послан и расправы,
С собой несет он два меча:
Один — сражений меч кровавый,
Другой — секира палача.
Но на кого: одна ли выя,
Народ ли целый обречен?
Слова неясны роковые
И смутен замогильный сон.

Тютчев имел право сказать в первой строфе стихотворения, что раскрывает в нем «не свое», но бред пророческий духов. Предопределением свыше веет от этих царевубийственных строк. Кажется, они насквозь охвачены ужасом отсековенения венчанной главы.

Мрачное трехлетие севастопольской войны тяжело ранило Тютчева. И, глубоко измученный позорными событиями, он переводит знаменитую строфу Микель Анджело с плиты спящей Ночи:

Молчи, прошу, не смей меня будить!
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный,
Отрадно спать, отрадней камнем быть!⁴⁰

Редко переводчик выражает чужими словами столько накопившей личной боли. Да, не жить, не чувствовать. Родина под пятой врага, вожди и властители тонут в собственных ошибках, Севастополь падает, народ истекает кровью, гибнут герои, здравствуют мертвецы. «Deh, paria basso!» *

Так на глазах у Тютчева гас священный дух монархической власти. Российский абсолютизм давно уже перестал вызывать в нем мистическое благоговение. Еще свое послание к декабристам он начинал восклицанием: «Вас развратило самовластье!»

* Ах ты, низкая тварь! (*ит.*).

И впоследствии он категорически провозглашает, что борьба России с революцией ведется «не за коран самодержавья».

Но сева­сто­поль­ский разгром окон­ча­тель­но помрачил в его глазах свя­щен­ный ореол монархизма. Он это понял вскоре после катастрофы в тор­жественную историческую минуту миро­по­ма­зания нового госу­даря. Находясь в свите Алек­сандра II во время московской коронации, он понял всю тщету попыток умирающей власти облачить себя в бармы ушедшего величия.

Он проникся глубокой жалостью к ее носителю. Когда он увидел в Успенском соборе под пышным балдахином «бедного императора» с короной на голове, бледного, утомленного, с трудом отвечающего на все клики народа накло­нением головы из­под громадной сверкающей короны, — он почувствовал все то убогое, слабое, человеческое, что скрывается за жестами непри­званных властителей. И когда обряд коро­нования омрачился неприятным эпизодом, — венец упал с головы государыни, — он, забыв о рангах, просто по-человечески пожалел императрицу. «Бедная женщина», пишет он в своих письмах. Ничего, кроме сострадания.

Святая Русь не в тронных залах. Вот из паломничества к Троице возвращается дочь Тютчева. С каким волнением выслушивает он ее рассказ о богомольцах, идущих толпами со всех концов родины к древней святыне и спящих под открытым небом за оградой монастыря. «Да, если есть еще Россия, то она там и только там»... Не среди треуголок, орденов, аксельбантов, мундирного блеска и геральдической символики веет дух Божий, а там, на необъятных проселочных дорогах, где в рубище и с посохом странника бредет «в рабском виде царь небесный»...

Теократия Тютчева преображается. Народ становится ему ближе венценосцев. Он раскрывает «величие поэзии необычайное в этом мире византийско-русском, где жизнь и верослужение составляют одно, — в этом мире столь давнем, что даже Рим в сравнении с ним пахнет новизной»... Религиозным путем он идет к признанию демократии. В самом народе он прозревает возможность священной власти. Вот почему под конец жизни он так неожиданно и так сочувственно приветствует наступающую в Европе республиканскую эру.

Это поразительные по своей прорицающей силе слова. Они свидетельствуют о редкой ясности духа этого семидесятилетнего монархического дипломата: «Тьер дает самое разительное опровержение известной русской поговорке: один в поле не воин. Какой это одинокий и какой воинственный боец! Никогда еще, кажется, ценность отдельной человеческой личности не

была лучше доказана. И вот, если он добьется успеха в своем предприятии, если ему удастся основать во Франции жизнеспособную республику, он этим одним вернет своей родине ее прежнее превосходство. Ибо нечего обманывать себя: при теперешнем состоянии умов в Европе то из правительств, которое решительно бы взяло на себя инициативу великого преобразования, открыв республиканскую эру в европейском мире, имело бы огромное преимущество перед всеми своими соседями. Династическое чувство, без которого нет монархии, всюду понижается, и если иногда проявляется обратное, это только задержка великого потока».

Так пишет Тютчев за год до своей смерти. Непримирымый легитимист в свои молодые годы, приверженец системы Меттерниха, долгое время разделявший его ужас перед чудовищной гидрой грядущей демократии, этот идеолог русского похода в Венгрию на склоне лет нашел в себе мужество независимой мысли для признания истин, с которыми боролся всю свою жизнь. Пока старые фурьеристы и петрашевцы грозят гибелью республиканской Франции, сановник Тютчев ощущает в себе пульсацию приближающихся новых эпох и с мудростью ясновидца ждет великого катастрофического преобразования старого европейского мира.

VIII

Но в самой сущности революции, в ее глубинных недрах таилось нечто, глубоко привлекавшее к себе Тютчева. Как бы ни ужасал его подчас дух мятежа в его политическом проявлении, в факте и действии, он онтологически оставался ему близок.

Схваченная вне ее текущих и временных проявлений, революция в своем метафизическом плане соответствовала какой-то коренной сущности его души и полным тоном отвечала на ее заветнейшие запросы.

В сфере истории она являла ему начало хаоса. И как тайна мира раскрывалась Тютчеву в шопотах и воплях раскованной стихийности, так смысл вечной смены человеческих поколений обнажался перед ним в эпохи вулканических извержений. Его интуиция всемирной истории достигла высшей степени своего напряжения и ясновидения в соприкосновении с революционной стихией. Он знал, что безмолвный сфинкс мироздания неожиданно обнаруживал свой сокровеннейший трагический смысл в сотрясениях гроз, в бездонном сумраке ночей, — всю-

ду, где демоническое начало бытия разбивало формы и размывало устои сущего. И он чувствовал, что точно так же тайна истории раскрывается нам в те мгновения, когда мы неожиданно, как Цицерон, застигнуты в пути «ночью Рима»⁴¹, и древний хаос начинает шевелиться под кованой броней государственности.

Тайна, смысл и подлинный облик истории раскрывается только в огне и вихрях революционных откровений. Ими обнажается до дна душа таинственной богини. Сущности народной жизни и расовых инстинктов — не в спокойной и озаренной ткани обычной мирной государственности. В ней только иллюзия жизни, только призрак власти и подчинения. Исконная, вечная, древняя правда о человеке во всей ее жестокой и дикой сущности — там, где рушатся вековые устои, пылают дворцы, клокочут толпы и рука палача устает взметать нож гильотины.

Роящиеся во тьме истоки народных судеб не видны под полированной поверхностью налаженных государственных отношений. Все эти министерства, парламенты, суды, съезды, петиции и конгрессы — только узоры на пестром плаще, наброшенном над бездной подземных народных инстинктов. Он кажется крепким и пышным, этот плащ в гербах и коронах, пока дремлют скрытые под ним силы и неподвижны таящиеся на дне провала взрывчатые скопления. Но первое же их пробуждение мгновенно изобличает всю призрачность властей, санов и учреждений. Когда растут баррикады, когда пылают Тюльери и реют над храмами и дворцами фантомы гражданских войн, в эти минуты иступлений, безумств и кровожадной ярости история срывает все покровы с таинственной и грозной души восставших толп, —

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,

и мы неудержимо скользим в ее разверстый зев. «И нет преград меж ей и нами!..» И страшна ночь истории под непроницаемыми тучами революций, страшнее, чем это думал серенький денек ее обычных будничных, тускло благополучных соотношений.

Тютчев жадно впивает в себя этот мировой дух, прорывающийся сквозь расщелины сотрясенной истории. Трагические финалы династий полнее всего приобщали его к таинствам вековых судеб человечества. В исторических книгах, постоянно питавших его беспокойный интерес к путям и устремлениям наций, он никогда не искал, подобно другим поэтам, ни коло-

ритной живописности, ни драматических эпизодов. Личные судьбы великих героев, декорации и сцены вечных битв и перемирий, интриги, конфликты и внешний парад народных шествий — все эти триумфальные колесницы среди лавров, мечей и раздавленных тел — никогда не зажигали его творческих видений. У него нет ни одной исторической поэмы или драмы, ни одного из тех отточенных стихотворных осколков, которыми мгновенно отражается в ракурсе сонета блеск и пышность ушедших культур. «Полтава» Пушкина, шиллеровский «Валленштейн» или «Трофеи» Эредиа — одинаково чуждые ему роды творчества. Его зажигает только создающаяся на его глазах зыбкая, текучая, еще не знающая своих форм история. В ней, конечно, есть и борьба героев; и пышный декорум, но его влекут к ней те подземные удары и сокрушительные взрывы, которыми сотрясается до основания шаткое здание политической современности⁴².

Неуловимый в неподвижные эпохи лик истории обнажается в урагане революции и, до ослепительности озаренный, приближается к нам вплотную, обрекая на гибель своим взглядом василиска. Богиня, спокойно вступившая некогда в греческую мифологию с глобусом и циркулем в руках⁴³, давно уже отбросила свои мирные атрибуты знания и вырвала у старика Хроноса его режущее лезвие. И Тютчев любил следить за нею в минуты иступления, когда безумной менадой с развевающимися волосами и окровавленным тирсом она металась по площадям европейских столиц среди обугленных зданий и срезанных голов. И может быть опять, замороженный этим безумием строгой музыки поседелых летописцев, он шептал, как прежде: «Люблю сей Божий гнев»...

Ужасная на поверхности, в разложении и гнилостных пятнах своих внешних покровов, в горячке бессмысленных разрушений и посягательств, революция оставалась могучей и величественной в своих первозданных глубинах.

Пафос освобождения, радость беспредельных возможностей, крыление духа предчувствием неожиданных полетов в неведомые пространства — этот энтузиазм революционных эпох, который остается неугасимым в черных вихрях ее полета, — все это волновало Тютчева. Как Микель Анджело, кидающий свое отвращение к миру в горячку флорентийской революции, как Бетховен, разворачивающий все грозы своей ропщущей души в революционном апофеозе героической симфонии, как Рихард Вагнер, прозревающий зарево новой эры среди выстрелов дрезденских баррикад⁴⁴, Тютчев чуял в революции то древнее, сти-

хийное, вечно зовущее к себе, что оказывалось созвучным глубочайшему тону его души.

Пусть он не написал своей «Symphonia heroica». Сквозь лаконические сообщения депеш и протоколов, сквозь условные тексты трактатов и нот он не переставал прозревать таинство нового апокалипсиса в ходе и действии пронсящихся революций.

IX

«Меня удивляет одно в людях мыслящих, — пишет Тютчев в год своей смерти, — то, что они недовольно вообще поражены апокалиптическими признаками приближающихся времен. Мы все без исключения идем навстречу будущего, столько же от нас скрытого, как и внутренность луны или всякой другой планеты. Этот таинственный мир — быть может, целый мир ужаса, в котором мы вдруг очутимся, даже и не приметив нашего перехода»...

Таковы были для Тютчева пророческие откровения революционных эпох. В обычные периоды политических затиший история расстилалась перед ним тяжелым и непроницаемым покрывалом. Разбираясь в сложнейших международных проблемах, расшифровывая хартии и депеши, он постоянно ощущал какое-то миражное бытие за вялыми отношениями мирных периодов. Эти послы, министры, атташе, генералы и короли призрачными тенями скользили перед ним в процессе катящейся современности. Как шекспировскому Просперо, они казались ему не более вещественными, чем сны, и из себя родящими лишь марево сновидений. Ни в цензурном комитете, ни на дворцовых приемах и церемониях он не мог забыть,

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами...

Торжество в Кремле. Празднество коронации разворачивается ослепительным видением. Лучами солнца блещет декоративный фон Замоскворечья, полки горят парадным облачением, вьются и хлещут о древки пестрые знамена. Дипломатический корпус дополняет великолепный декорум. Какая роскошь — карета французского посла! А эта, за ней⁴⁵ — сколько благородства в небольшой группе: лорд Гренвиль, окруженный прекрасными и изящными леди. Дальше, дальше! Вот князь Эстергази в сказочно великолепном мундире, вот принц де Линь, а там,

в конце процессии, экзотическим эффектом восточных феерий выступают чалмоносцы, горя алмазами своих тюрбанов, и персы в красных фесах, сверкающие золотом своих пестрых расшивок и лучистых орденов. Кажется, Шехерезада разворачивает мерцающий шарф своих ночных видений вдоль зубчатых башен и белых соборов Кремля.

«Грезы, грезы», шепчет стоящий в толпе придворных камергер его величества Федор Тютчев. Разве подлинно бытие этих марионеток и автоматов? Разве не миражем веет от этого ленивого полдня истории? Да полно, действительность ли в нем?

Но празднество коронации продолжается. Сменяются спектакли, маскарады, балы, и среди сказочной пышности этих шествий, полонезов и процессий опять то же ощущение: «Tout cela me fait l'effet d'une rêve»... * Как странно: фрейлины, статдамы — и рядом князя мингрельские, татарские, имеретинские с торжественной осанкой и кровавым прошлым, с распаленной кровью под складками великолепных одеяний. Вот два настоящих китайца... И главное, ведь здесь рядом в нескольких шагах гробницы древних царей. А что, если до них доходят отзвуки происходящего в Кремле? Как должны изумляться эти мертвецы... Подумать только: Иван Грозный и старуха Разумовская!⁴⁶ «Ах, сколько призрачного в том, что мы зовем действительностью»...

Так всегда эти парады текущей истории служили Тютчеву только канвой для его видений, мечтаний и фантастических сближений отдаленных эпох. На всяких торжествах, поминках, панихидах и великокняжеских крестинах, под шум уличных толп и жужжанье придворных, под звуки церковных хоров или дворцовых капелл он разворачивает свою фата-моргану.

Но в минуты исторических катастроф этот свитский мечтатель, произведший однажды на государя впечатление юродивого, произносил прорицания, напоминающие видение Достоевского, о грядущих судьбах европейского человечества. Словно будущий голос Версилова слышится в предсказаниях Тютчева:

«Мне показалось, что настоящий миг миновал уже давно, что полвека и больше прошло за ним, что великая зачинающаяся теперь борьба, совершив весь круг громадных превратностей, объяв и перемолов в своих приступах целые царства и поколения, наконец, закончилась, что новый мир возник из нее, что будущность народов установилась на многие века, что всякая неопределенность исчезла, Божий суд свершился, и вели-

* «Все это представляется мне сном»... (фр.). — *Ред.*

кая империя основалась. Она вступила в свое бесконечное поприще там, в странах иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря. Новые поколения, с мыслями, с убеждениями совершенно иными, владели миром и, гордые всем приобретенным и достигнутым, едва-едва помнили о печалях, о муках, о той тесной тьме, в которой мы теперь обитаем».

Так представлялись Тютчеву близящиеся эпохи всемирной истории. Лучше всех своих современников он видел призрачную тщету отмирающей власти и явственнее других слышал зловеющий треск в старом здании европейского монархизма. По его собственному признанию, текущие события раскрывали перед ним вековую борьбу во всем ее исполинском размере. Политические катастрофы широко раздирали перед ним заветы грядущего и в ослепительных озарениях раскрывали видения будущих времен.

Он прозревал конечные сроки исторических путей⁴⁷. В текущих сотрясениях он чуял предвестие Страшного суда. В современной истории он следил за путями божественного откровения. В хаосе нашествий и битв, среди конвульсий агонизирующих династий он ощущал дыхание Божьих бурь. И финал человеческой истории, последний мировой переворот раскрывался ему в грандиозном библейском видении:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них.

Ужасы текущей истории не могли заслонить перед взором Тютчева откровений духа, веющего над судьбами человечества. Европейская политика развернулась перед ним в откровении мировой мистерии.

Х

Так пережил Тютчев драму современников революции. Он одинаково остро чувствовал яды духа, протекающие под потоками мятежной стихии, и всю ее великую возрождающую мощь. И здесь он долго трепетал и бился своим вещим сердцем «на пороге как бы двойного бытия». Ни опыт личных наблюдений, ни официальная идеология меттерниховского дипломата, ни теократические оправдания абсолютизма не могли в нем

осилить влечений творческой души к безграничной свободе всемирных сотрясений. К самому себе он мог применить слова, обращенные им к тени Бонапарта: и для него борьба с революцией была напрасным боем, «он всю ее носил в самом себе».

Но из этого тупика столкнувшихся противоречий он нашел, наконец, исход. Он ввел революцию в исповедание своей веры. Он увидел в ней необходимый и полный глубокого смысла акт всемирной исторической трагедии. Он принял ее как таинство жертвоприношения, как очистительное испытание огнем и кровью, как неизбежное всенародное искупление грехов и преступлений власти. Он перестал в ней видеть один только лик антихриста и почувствовал в вихрях политических бурь «дыханье Божие». И под конец жизни он стал прозревать религиозную драму мирового обновления не только в парадных торжествах тронных зал и ватиканских чертогов, но и в яростных судорогах мучительных перерождений, искажающих лики империй.

1918

